

Витя Куза в сандалиях на босу ногу*

Повесть

Часть 1. Прodelки "Букиниста"

Запах книг не вытеснит запаха цветов. Тем более одной книги. Тем более тридцати поутру срезанных роз кремового цвета.

Мальчик нес влажный, покальывающий пальцы букет. Нес ей.

Количество цветов произвольно. Почему-то он решил — пусть будет тридцать. Полураспустившиеся бутоны доверчиво смотрели в лицо. Мальчик смущался и откидывал назад голову, отчего вид приобретал выскомерный.

На пути к ее дому пересек сквер, обогнув беседку-раковину для духового оркестра, перебежал трамвайные пути и снова и снова скользнул взглядом по витрине книжного магазина, за углом от которого жила она. Утренний свет ложился на стекло витрины, оно лоснилось от чистоты и блеска, а книги за ним казались еще древнее. Имя тому магазину — "Букинист".

Взгляд сверху

Здесь позволяли рыться в книгах. Здесь позволяли выбирать.

Единственная преграда — толстая, похожая одновременно и на камыш, и на хвост пуделя веревка отбрасывалась и — милости просим!

Дальше все зависело от техники приноживания, ощупывания, попросту — от интуиции.

Прислушивается кассирша: что за свист?

Это сосредоточенно посапывают ищущие, листая страницы, а те, кто нашел, бледнеют, чеканя шаг, идут к кассе, притворяясь, что ничего особенного не случилось, и выдает их радость только немыслимо смятый рубль, выпавший из кулака!

Получая у продавца книгу, они шепотом просят: "Не заворачивайте!". И вот уже в сквере, уткнув носы...

Да здравствует утро книжников, счастливое утро книжников!

Мальчик не считал себя достойным великого звания "книжник" и вообще, в серенькой безрукавке, фланелевых брюках, в сандалиях на бо-

* Впервые опубликована в книге: Михаил Левитин. Болеро. Москва, 1983

су ногу, не вполне соотносился с тишиной и полумраком магазина. Улица была его призванием, "Букинист" — ловушкой. Опасности подстерегали и здесь и там.

Он, как чаплинский пилигрим, старался удержаться на пограничной линии между "Букинистом" и улицей.

Легкая фигурка в сандалиях на босу ногу, почти танцующая походка. Увлеченно играл с другими, увлеченно читал, и когда мчался по Греческой к морю, то, исчезая вдали, казался прохожим неотразимо артистичным!

Нет, не был он мудрым, полноценным книжником, таким, как вот тот полный мальчик, чьи короткие сильные пальцы по-врачебному простукивают корешки книг. И полка Кузу манила только одна. С надписью — ТЕАТР. Она находилась высоко!

Продавец подносил стремянку, а он, мальчик, взбирался.

Постоять наверху, оглядывая магазин, не торопиться выбрать книгу, тем более что выбирать было не из чего — полупустая полка с книгами неравноценного формата, расположенными ступенчато. Стоять долго, не боясь, что людям снизу видны твои босые ноги, измазанные улицей, — настоящая радость. И если нижние полки были в легкой пыли, внесенной покупателями и ветром, то эту, верхнюю, недосыгаемую, только слегка-слегка припудрила облупившаяся на потолке известка.

Куза воображал себя архивариусом, легкокрылым архивариусом, который пользуется стремянкой, потому что лень взлетать. Мальчик владел хитроумным способом превращаться в разных существ. Никто в эту минуту не видел его лица, обращенного к книгам, а оно с каждой новой ступенькой приобретало новое выражение. Лицо становилось хищным, поджимались губы, удлинялся нос, мальчишеский лоб исчезал под сетью глубоких морщин.

Чье это было лицо — архивариуса Линдхорста из сказок Гофмана или невозмутимого старичка, сидящего на вынесенном стульчике у троллейбусной остановки, мешая толпе войти и выйти?

Менялся пульс у Кузы, руки по-стариковски цепко хватали стремянку, возник небольшой легкий горб — зловещий облик колдуна, разглядывающего свое хозяйство...

Оно не изменилось. Все те же толстые в картонных футлярах книги о музыкальном театре (к ним Куза относился спокойно) и всякая разрозненная мелочь о драматическом...

"Что?!" Архивариус увидел сводные театральные программы прошлых лет местного театра, и с лица архивариуса сползла зловещность —

прежнее, мальчишеское, оно смотрело на полку огорченно. Полка теряла привлекательность и тайну — таких программ у Кузы мильон, зачем "Букинист" их покупает?

"Разве такой театр нужен городу, который сам себе — театр?"

Мальчик посмотрел вниз.

"Только что, разморенные жарой, ленились обойти друг друга на улице, сталкивались, не извиняясь, тупые, сонные, а теперь стоят над книгами, объединенные одной страстью, и лица их по-птичьему беспомощные и дерзкие, особенно у нацепивших очки. Вот какой город!"

Пора было спускаться. Стремянке передавалась нервная вибрация продавца, взглядывающего на Кузу, и мальчик для вида вытянул из ряда книг одну, показавшуюся новой. "Книга о Камерном театре".

"Камерный, — подумал мальчик. — Камерный... Наверное, одна из разновидностей оперного. У них все есть — и Большой, и Камерный!"

Фотографии соответствовали впечатлению — нагромождение камней, диковинные парики, бессмысленно распростертые в воздухе руки.

"Заслуженный артист А. Таиров", — прочитал он под первым из портретов, и через пять страниц: "Заслуженная артистка А. Коонен".

Странная фамилия, странное лицо, не отдаленное временем, хотя книга датирована 1934 годом. Эту солистку сфотографировали за одиннадцать лет до рождения Кузы, а смотрела она доброжелательно и поощряюще высокомерно.

Мальчик выбрал наугад одну из строчек. Строчка была затейливо сложена автором из манких и загадочных слов, но абсолютно несъедобна. Следующая тоже.

Может быть, Куза читать разучился, или эта книга иностранная, нарочно переписанная русскими буквами?

"Контрольной и диспетчерской инстанцией, которая управляет отбором и степенью проявления этих средств, является осознание актером всех внешних проявлений эмоций и то особое кинетическое чувство, которое является функцией нервной системы и которое автоматически находит внешнюю форму эмоционального выражения".

"Как о кроликах пишет!" — рассердился мальчик и, захлопнув книгу, увидел уголок торчащего из нее листа, другого цвета и толщины. Куза потянул за уголок. Лист был газетный. С фотографией того самого, первого, А. Таирова, только облысевшего еще больше и без улыбки. Лист был некрологом. Кто-то вложил его в книгу. Предчувствуя наказание, впервые за свою недолгую жизнь, Куза, не отводя руки, кончиками пальцев свер-

нул некролог в трубочку и быстрым движением швырнул в расстегнутую щель рубашки. Там листок выпрямился и прижался к телу. Книгу Куза вернул на полку.

Со стремянки мальчик спускался медленно, с первым же неловким шагом одна из сандалий полетела вниз.

Раздался звук, похожий на одиночный хлопок в ладоши.

Все прекратили поиски и уставились на босую мальчишескую ногу. Куза так смутился, что, спрыгнув со стремянки на пол, заложил босую ногу за другую и стоял теперь, как маленькая провинившаяся цапля.

Продавец нагнулся, достал сандалию из-под прилавка.

"Прошу", — недовольно произнес он.

Выходя из магазина, Куза, не выдержав напряжения, оглянулся и увидел, что все снова углубились в любимое дело, а на стремянку взбирались девичьи ноги такой стройности и красоты, что мальчик зажмурился.

Украденный некролог

Почему же теперь, когда он бежал с букетом мимо "Букиниста", запах роз был скомкан ветром из-за угла, а вместо него возник другой, старинный, как будто открыли плоскую коробку с елочными игрушками, переложенными пожелтевшей ватой, и вырвался, закружился новогодний хвойный дух, такой беззащитный под утренним южным солнцем. Играли на клавесине Баха, проделки "Букиниста" продолжались.

Это был запах той самой непонятной книги о Камерном театре, и Куза догадался, что стал вчера чем-то вроде книжного вора.

Куда идти? В руках неживые цветы, в заднем кармане сложенный непрочитанный некролог.

Магазин еще закрыт. Значит, вернуть листок на место пока не удастся.

Теперь он двигался к ее дому вяло, будто настиг его в пути резкий и грубый окрик. Из-за чего так страдать?

Никто не видел, вынь некролог и опусти в урну. Уймись — сегодня день рождения Ирины. Трудно достались розы!

Лаял пес, плоская и длинная бабка отказывалась продать, играючи пощелкивала себя веткой по ногам, как плеткой, он протягивал сквозь щель в заборе десять рублей, смятенно кудахтали в птичнике курица, бабка орала на всех и смеялась, потом выхватила деньги у него из рук и протянула непонятно когда срезанные розы... При чем здесь А. Таиров? Чепуха какая-то!

Он присел на чугунную тумбу у Ирининых ворот.

Из некролога он узнал, что 30 сентября 1950 года умер "честный труженик, много лет отдавший любимому делу".

Из некролога он узнал, что Александр Яковлевич (так звали Таирова) "преодолевал имевшие место в его творчестве первых десятилетий элементы увлечения внешней формой".

"А.Я. Таиров похоронен на Новодевичьем кладбище".

И в длинном столбце подписей Куза снова прочитал странную фамилию — А. Коонен.

Стало ясно, что существовал на свете абсолютно неизвестный театр, и этот театр десять лет назад потерял своего руководителя.

"Почему "существовал"? Может быть, существует!"

О Кузе говорили так: "Для своих лет он знает слишком много".

"Только о театре", — уточняла мама.

"А это, как известно, полная чепуха", — успевал добавить отец.

И сейчас мальчик рылся в своей памяти, полной чепухи, но ничего, ничего о Камерном там не было.

Еще в трехлетнем возрасте после циркового представления, когда растеживала мама пальто не по-детски сосредоточенного Кузы, мальчик, стоя у белой кафельной печки, медленно сказал: "Я буду клоуном".

"Но клоуны должны все уметь!" — растерялась мама.

"Я буду уметь все", — грустно ответил Куза.

И он учился.

Складывать губы ниточкой, опускать нос к подбородку, владеть пустыми рукавами длинного отцовского пиджака, подбрасывая их, сплетая, когда Куза выскакивал в гущу хмельных гостей из соседней комнаты, изображал умирающего лебедя или разыгрывал интермедию "Поцелуй кота под хвост" — случай, происшедший с ним в действительности, когда Куза буквально воплотил пожелание папы. Возникали перед гостями: и разгневанный фыркающий кот, и сам Куза, исцарапанный, в полубоморочном состоянии, лицо папы, потерявшего дар речи, изумленного. Какой успех, и — ах! — аплодисменты. Иногда мальчик начинал петь, но гости торопились подхватить, и в общем гуле терялась прелесть одинокого пения, пения без аккомпанемента. Тогда мальчик шел спать, волоча за собой по полу отцовский пиджак.

Так проходило детство. Как у всех, но немного в сторону.

В сторону театральных книг и оттачивания непонятного самому мальчику умения.

Люди двигались коротко и рвано, их жесты были некрасивы, как

у больных, а он. Куза, пытался, не прерывая движения, совершить ряд поступков: ему нравилась волнообразная линия, прочерченная в воздухе его руками, а всем цифрам он предпочитал "8", как наиболее хитрую, какую-то в самой себе законченную.

"Как он ест! — восхищались гости. — Как он бесподобно красиво ест!"

"Воспитание..." — многозначительно произносила тетя Лена и развела руками, чуть не проткнув соседей ножом и вилкой.

А он не ел "красиво", а репетировал, брал, не расплескав, подносил ко рту, пил беззвучно, возвращал на место, не задевая, с той особой связью между ним и любым зависящим от его действий предметом.

И ждали мальчика впереди три мнения, три приговора.

Одно снисходительное: "Это изящество врожденное, хорошая координация".

Другое доброе: "Молодец, стремится к совершенству!".

И третье самое простое: "Эстет, пижон".

А пока Куза сидит у ворот, смотрит на прохожих и думает: "Как они могут быть красивы!"

Нет, он никогда не слышал о Камерном, никогда.

Стояли дома книги о Художественном театре с фотографиями артистов, легендарных, как "тридцать три богатыря".

Их имена вызывали в памяти живые, сохраненные другими воспоминания.

Кто-то слышал Качалова на эстраде в Киеве после войны.

"Скажите, что он читал, скажите?!"

"Что читал? Ну, первым делом "Буревестника".

"Какого "Буревестника"?"

"А разве их много? Того самого, горьковского".

"И как, как он читал?!"

Очевидец немного подумал и ответил:

"Громко".

А когда мальчик, разочарованный, шел к двери, его останавливало восклицание:

"Вспомнил, вспомнил! Он еще изображал Барона "На дне", ну который картавит!"

"Грассирует?"

"Да, да, грассирует! Боже мой, как он смешно картавил!"

И восторг этого непосвященного, случайного человека делал фактом существование Качалова.

Качалов был! Он играл Барона в горьковском "На дне", он играл Барона в Киевской филармонии, играл без грима, с уже постаревшим, немного отечным, но все еще качаловским лицом.

А если он был там и читал, значит, существовал на свете Художественный театр!

Но вот о Камерном Витя Куза не знал ничего.

А новогодний хвойный дух снова плясал под музыку клавиесина, щеко-ча ноздри мальчика.

Оставалось купить книгу, но денег не было.

И тут случилось то, что потом будет часто вменяться ему в вину, сопровождаемое жутким словом "эгоист", что требовало немедленного воплощения.

Озаренный идеей, Куза мчался по ступенькам подъезда вверх, к Ирине, нетерпеливо давил на кнопку звонка, маялся ожиданием.

"Доброе утро, — сказал он открывшей дверь Ирининой маме. — Поздравляю вас, позовите Ирину, пожалуйста".

"Ты пришел очень-очень рано. О, какие розы! Хочешь, я сама отнесу их Ирине, скажу — от тебя?"

Куза резко прижал к телу цветы:

"Если можно... позовите Ирину".

"Ах, да ты нервничаешь! — ириво воскликнула мама и крикнула куда-то в глубь квартиры: — Именинница! Куза пришел!"

Ей хотелось наблюдать церемонию вручения, хоть через глазок, хоть в сторонке: "Как, ну как это у них делается, вспомнить бы!".

Но выкатившаяся из глубины коридора ("Как щенок, которого позвали!") ее дочь и этот воинственный мальчик стояли неподвижно.

"Ну, чего вы стоите? Дай, дай ей розы, можешь даже чмокнуть!"

"Мама!"

"Что стесняться? Ты же именинница!"

Дети посмотрели так, что она заторопилась:

"Ладно, ладно! Тогда заходи в дом, не стой на пороге. Я не понимаю — какие у вас могут быть тайны?!"

И ушла.

"Что случилось?" — спросила Ирина.

"Я пришел тебя поздравить".

"Спасибо".

"Тебе нравятся эти цветы?"

"Да. Что случилось?"

"Ирина, я купил их для тебя... Скажи, ты не могла бы как-нибудь обойтись без них? За углом в "Букинисте" появилась одна книга..."

"И тебе не на что ее купить?"

"Да!"

Ирина засмеялась тоненько и высоко, почти неслышно (так плачут взрослые женщины, так смеются дети) и обняла шею Кузы, несчастные глаза мальчика стояли перед ней.

"Сейчас, — шепнула она, становясь серьезной. — Сейчас, подожди, я оденусь".

Через несколько минут на соседней улице девочка в зеленом сарафане, мальчик в сандалиях на босу ногу бойко и радостно распродавали розы. Куза все время переспрашивал удивленно:

"Ты не обижаешься на меня, не обижаешься?"

"Но ты ведь их мне купил?"

"Кому же еще?"

"Вот и хорошо!"

Не пойманные милицией, не узнанные знакомыми, собрали ровно на книгу — пять рублей.

Теперь оставалось рассказать Ирине о случившемся. Куза мял в руках некролог, объяснял, заикался...

"Так что я зайти в магазин не могу, пока не могу, понимаешь?"

"Ладно, я сама куплю. Повтори, как она называется?"

"Книга о Камерном театре".

"Так книга называется?"

"Ну да, да! "Книга о Камерном театре".

"Книга о Камерном театре"..."

Ирина пошла к "Букинисту".

"Стой, стой!"

"Что еще?"

"Только ты не лезь на стремянку, хорошо? Пусть сам достанет!"

"Почему?"

"Неважно, я очень-очень прошу тебя!"

Куза крутился у витрины, вглядывался, но блики мешали, удавалось рассмотреть только плечо кассирши, находящееся в постоянном движении, и фосфоресцирующую копию какой-то огромной картины...

"Книги нет", — сказала Ирина,

"Что?"

"Книгу купили вчера".

"Кто купил? Кому она нужна, кроме меня, эта тоска?"

"Купили".

И дети подумали в этот момент о проданных розах...

Потом Куза взял девочку за руку, так, для смелости, и оба, войдя в магазин, направились к двери с табличкой: "Прием книг у населения". Кузе показалось, что продавец за прилавком сделал такое движение, будто хотел схватить его.

В крошечной комнате за столом сидела немолодая женщина с безглым выражением лица.

"Без паспорта нельзя, — сказала она. — Без документов книг не принимаем".

"Мы..."

"Без паспорта не возьму. Мало ли зачем вы продаете! Может, на папиросы!"

"Да нет у нас ничего! Посмотрите! — и Куза поднял пустые ладони вверх. — Нам справка нужна".

"Справка? Справок не даю".

"Нам нужно узнать, кто сдавал "Книгу о Камерном театре", адрес этого человека".

"Справок не даю".

"У вас же должно быть записано, пожалуйста, посмотрите, ну, пожалуйста".

Куза канючил с самым сиротским, жалостливым видом, толкнув при этом Ирину.

"Мы вас очень просим", — сумела сказать она.

"Да не могу я! Что ты пристал, зачем тебе справка, может, ты перекупщик?"

"Я не перекупщик! — Куза думал недолго, — Мне сказали... эта книга... о моем отце... я сирота", — он заплакал.

Женщина жалостливо посмотрела на Ирину:

"Не врёт?"

"Что вы!"

Тогда приемщица встала из-за стола и, переваливаясь, пошла куда-то в угол.

"Я с больной рукой, — причитала она, — с больной рукой! А тут ищи, ройся... Какая, ты говоришь, книга?"

"Книга о Камерном театре".

А потом нестерпимо долго писала приемщица на клочке бумаги детским почерком: "Подбельского, 15, кв. 72. Гуськова Любовь Андреевна".

Золотобородый

На улице — солнце. А здесь — погруженная во тьму лестничная площадка, и кажется — из всех трех высоких дверей кто-то на них смотрит. Неразличимы номера квартир. Не найдя звонка, Куза постучал.

"Кого?" — мгновенно раздался властный женский голос.

"Нам Гуськову Любовь Андреевну".

"Не живет".

"Почему?" — испугался мальчик.

"Что за идиотский вопрос? У нас такой нет, вот и все!"

"Это какая квартира?"

"Не та, что вам нужна. Не стучать больше!"

Потом зашептала старушка:

"Вера Андреевна, что им нужно?"

"Ищут Гуськову".

"Любку? Так это же рядом".

"Нужно — найдут!"

И Куза представил обладательницу властного голоса: обязательно низкорослую полную даму с недокуренной папироской во рту, нет, не полную — рыхлую, но с очень энергичными бестолковыми жестами. Ей всюду тесно, она задыхается. И подошедшая к ней аккуратенькая старушка, вероятно, со страхом и уважением смотрит, как атласный шар лифа выкачивается из байкового халата дамы.

Сопровождаемые шумом туалетного бачка, они идут от входной двери к своим комнатам: дама — зло курить и думать, старушка — переживать.

Перейдя к квартире напротив, дети прислушались, прежде чем стучать, за дверь, тоже притаившись, тяжело дышал пес, и под его охраной с веселыми восклицаниями: "Ты — похая, я — похой" — топал копытцами в пол чей-то ребенок. Средняя дверь, звеня многочисленными цепочками, распахнулась, и два света, солнечный и электрический, опережая друг друга, проникли на площадку. А в проеме двери стояла женщина, за которой — вся перспектива длинного коридора с раскладушками вдоль стен, подвешенными над головами детскими санками, и в самом конце, пучась, выползала хлопьями из эмалированного таза сизая пена, хлопаясь на табурет. Шла великая стирка.

"Что, не говорят, гады, где я живу, да? Вот злодеи, тюкнутые! — и она угрозила одной из дверей. — А я тут живу! Проходите!"

"Мы ищем Гуськову Любовь Андреевну".

"Ну а я про что? Давайте, давайте!"

Немолодая женщина, такого чистого и белого вида, будто в молоке вымоченная, она катилась впереди детей на кухню. Именно катилась — катастрофически кривые ножки образовали под ней как бы колесо. Но это не уродовало Гуськову Любовь Андреевну.

"Здесь я принимаю, — сказала она. — Тута моя резиденция. Вы от кого?"

"Из магазина..." — начал Куза, в ужасе сознавая, что никаких книг в этом доме быть не может, тем более о Камерном театре. И вид одиноко стоящей на кухонном столе бутылки подсолнечного масла окончательно подкосил мальчика. Была еще надежда на чердак, если, конечно, есть в этом доме чердак! На какие-то выброшенные прежними владельцами старинные чемоданы...

Ирина заговорила:

"Любовь Андреевна, скажите, пожалуйста, это вы сдавали несколько дней назад в букинистический "Книгу о Камерном театре"?"

Тут произошло следующее. Гуськова уронила мокрый рулон простыни в воду, пена взбрыкнулась и полетела ей в лицо. Раздирая глаза и без того мыльными руками, она причитала:

"Тише, тише, от скаженные! Да я этой книги сроду не бачила, сроду! Да зачерпните вы вот той зеленой кружкой воду из ведра, дайте сполоснуться, скаженные!"

Началось метание по кухне, искали кружку, искали гуськовское ведро с водой, не дай бог, чужое! Нашли, и все время, пока спасали глаза, Гуськова выкрикивала: "На кой ляд мне те книги нужны, что я, интеллигентка какая, что я, своим умом не проживу!"

"Любовь Андреевна, дорогая Любовь Андреевна, — голос Кузы сорвался и дал петуха, выдавая мутацию и волнение. — Может быть, ну, может быть, кто-нибудь другой просил вас отнести и продать эти книги. Бывает же такое! Вспомните, пожалуйста".

"Никто меня не просил..."

"Никто ее не просил. Она их просто украла".

Сияние незнакомого лица, окаймленного золотым караваем бороды, поразило ребят, когда они обернулись. Видно было, как хотелось этому только что вошедшему старику прислониться к стене, но он стоял перед ними прямо и строго. Кем он был? Откуда пришел?

Фигура под полосатой пижамой казалась костлявой и сильной, преклонный возраст выдавали только острые, беспомощно приподнятые плечи.

"Я всегда удивлялся, Любовь Андреевна, куда исчезают мои книги. Если вам нужны были деньги... Боже мой, как вы хитры и коварны!"

"Я ковер твой — трогала? — зашумела, завершала Любовь Андреевна. — Я фарфор твой — трогала? Две ненужные книжицы всего и взяла!"

"Молодые люди, — старик смотрел на детей. — Мне неловко, что это отвратительное разоблачение произошло в вашем присутствии. Но такие события трудно предугадать! Прощу ко мне".

Кузе показалось, что рука золотобородого ищет посох, чтобы опереться, находит, а Куза и Ирина, как два юных пастушка, следуют за ним, и всю эту процессию замыкает мокрый черт на кривых ножках. Черт шипит... "Вы ему не верьте, не верьте, он — придурок". Дверь перед носом черта захлопывается.

И в неожиданно светлой комнате старика над запахом каких-то пролитых капель стоял тот самый преследующий мальчика клавесинный хвойный дух. Сомнений не было, здесь ночевала эта книга, отсюда ушла.

Огромный матрац, придавивший подставленные для прочности козлы, очки под торшером, тонкие, металлические, с линзами круглыми, как пуговицы, книги, книги на провисших полках, разрозненные листы рукописей, всюду — на полу, на тахте, исчез под листами письменный стол...

Если не замечать высоты комнаты, все напоминало гигантский бумажный оползень с золотобородым старцем посредине.

Такой уютный замечательный оползень!

"С вашего позволения, — сказал хозяин. — Я на минуту прилягу, всего лишь на одну минуту. А потом мы продолжим наше увлекательное знакомство".

И он лег, как был, в полосатой пижаме лицом к коврику, и он лежал ровно одну минуту, но эта минута показалась Кузе на глазах созревающей каплей, которой никак не удастся сорваться с крыши и полететь. Минута истаяла, старик сел.

"Простите великодушно, — сказал он и повторил: — Простите великодушно! Теперь я спокоен и могу говорить. Смахните вон те листы со стульев и сядьте".

В коридоре стучала каблучками, передвигалась, ворочалась, полоскала белье ставшая прошлым Любовь Андреевна.

"Дело в том, — произнес золотобородый, — что моя покойная жена, печась обо мне перед своей кончиной, обратилась к этой женщине — не оставлять меня житейским вниманием и заботой. Она, конечно, хотела добра, а вот что вышло..."

Золотобородый прислушался: "Бывают люди настырные и злые, как хорьки, в жажде деятельности они прогрызают насквозь все, даже чужую жизнь. Да вы только что видели... — он замолчал, потом спросил: — Какую она продала книгу?"

"О Камерном театре".

"Книгу о Камерном театре"?!"

"Да".

Старик вскочил и с неожиданной легкостью ринулся к одной из полок. "Она обязательно должна была взять и те, что рядом, такие, как она, не выбирают. Конечно!" Он застонал.

Старческой ладонью он водил вдоль щели, образованной сданными книгами.

"Не повезло Камерному... — шептал он. — В который раз не повезло..."

"Я хочу вам вернуть..." — Куза достал из кармана и протянул некролог.

Ни о чем не спрашивая, старик разгладил газетный лист, сказал, глядя в глаза:

"Да, Александр Яковлевич, Александр Яковлевич..."

Наверное, он что-то вспомнил, потому что прежнее сияние возникло на лице, и он улыбнулся:

"Молодые люди, не огорчайтесь, что книги нет. Вас ведь интересует Камерный театр? Это такой несчастный сегодня, непростой интерес. К сожалению, у меня нет материалов, чтобы подготовиться к лекции, но если вы знаете о театре меньше меня, то я пороюсь в старой памяти, соберусь с мыслями и попробую рассказать вам".

"Да мы ничего не знаем о Камерном, понимаете, совсем ничего!" — крикнул Куза в предчувствии небывалой удачи.

...А когда они возвращались, отбрасывая длинные тени под стоящим в зените солнцем, Ирина решила признаться:

"Ты знаешь..."

"Знаю. Тебе было скучно. Я видел".

"Наверное, мы с мамой слишком поздно пекли пироги вчера..."

"Как ты вертелась!"

"Извини, я пробовала слушать, но, когда я чего-то не понимаю, страшно разболевается голова".

"И сегодня тоже?"

"Сегодня как-то особенно сильно!"

Ирина тряхнула головой, будто пыталась сбросить боль, усилившуюся на солнце. Куза смотрел на нее с сожалением и надменно.

"Это потому, что ты ни при чем", — сказал он загадочно, с оттенком непонятого превосходства.

Прогулки с театралом

Навстречу друг другу шли золотобородый и Куза. Старик приветственно взмахнул пиджаком, лежащим на левой руке, и холодок неминуемой прекрасной встречи пробежал вдоль тела мальчика. Они условились вчера, они точны!

Мелькнула мысль, что в своей застегнутой даже на верхнюю пуговицу рубаше, с этой стопкой книг, перехваченной поперек ремнем, извлеченным из брюк, Михаил Леонидович Савицкий такой же безнадежный старик, как остальные, дремлющие на скамьях. Но он приближался особой походкой, легким и широким шагом, давно установленным, выверенным: шагом человека, который может рассчитывать только на себя. Он гнал перед собой ветер!

"Я не опоздал?" — спросил он.

"Нисколько, Михаил Леонидович!"

"Я так волновался!"

"Можно мне понести ваши книги?"

"Нет, нет! Я терпеть не могу, когда руки свободны и болтаются. Руки должны быть заняты, вы понимаете?"

"Может быть, посидим на скамейке, Михаил Леонидович?"

"Здесь, на этой аллее мертвых? Я смертельно боюсь стариков. Вы шутите! К морю, к морю!"

Раньше стыдился Куза немощных и толстых, прикидывался непричастным, подсаживая в переполненный трамвай страдающего астмой дядю Александра, и всегда ему казалось, что дядя это понимает, и все понимают, но ничего не мог мальчик с собой сделать. Он считал, что болезни исчезнут сами — надо только захотеть!

Испарина на лицах, скрюченные болью тела — в это не хотелось верить всерьез, все было притворством, и только мучения деда, вцепившегося пальцами за минуту до смерти в плечо своей дочери, Витиной мамы, его крик: "Я не хочу, не хочу, не отдавай меня!" — встревожили Кузу. Простые слова, после которых — смерть.

Куза стал остерегаться старых людей — от них можно было ожидать самого непонятого, необъяснимого. Другое дело золотобородый...

Здесь правда была не в возрасте, а в словах, в мыслях, в интонациях,

во всем, что падало на мальчика с высоты стариковского роста, не причиня боли.

"Если бы вы знали, Виктор, как разволновали меня вчера! Дело не в том, что она уносит книги, а в том, что я мог этого так и не заметить. Что это — слабоумие, слепота? О чем я думаю, пока еще живу? Смотрю вперед? Но это ересь! Вы застали меня врасплох, когда я все забыл, почти все, правда, другие помнят еще меньше. Например, мой брат... Да, да, у меня есть брат, он живет в этом городе, он пытается навестить меня, ну да Бог с ним!

Вы говорите — Камерный... Можно восстановить в памяти стихи, фильмы, живопись; то, что хоть на мгновение, но застывало, позволяло себя рассмотреть, обжить, но театр, эта легенда, прихотливая, капризная; реальность, которая тут же становится воспоминанием! Трагическое явление — Театр. Вам пока непонятно? Камерный существовал еще каких-то двенадцать лет назад, а вы расспрашиваете о нем, как о древнегреческом театре. Потому что перестал дышать, говорить своим особым языком, перестал быть, и не потому, что не хотят вспомнить, просто не в состоянии. Мой брат... Я возвращаюсь к нему не из чувства любви; он, именно он был моим проводником по Москве двадцатых. А это, поверьте, непросто! Он приходил ко мне, только что приехавшему из провинции новоявленному студенту института восточных языков, ужасно в себе неуверенному и оттого безмерно самоуглубленному; приходил с женщинами, это вас, наверное, не интересует? Но здесь важно все, и эти женщины казались доступными и одновременно глубоко целомудренными, как и все тогда, они не ждали подвоха, были открыты душевно. Ваша подруга Ирина их напоминает. Кстати, почему она не пришла?"

"Не захотела".

"Видите, не захотела. Ну, конечно, я выглядел вчера глупо..."

"Рассказывайте, пожалуйста".

"Мой брат руководил театральной студией, не ахайте, здесь не было ничего удивительного, фантастическая тогдашняя жизнь требовала быть понятой, зафиксированной любыми средствами, и уж конечно средствами театра, человек чувствовал в себе возможности, которые не повторятся, и торопился, поэтому студий было множество. Подчас они исчезали, как прошедшие праздники, грустно, но естественно. А мне казалось, что в этой братниной театральной компании бродила какая-то новая идея, какой-то принцип, еще не расследованный, не выраженный. Поверьте, все объяснялось не простыми родственными чувствами или обаянием брата, иногда я

хотел бы так думать, но для чего оправдывать человека, который все уничтожил сам, сознательно, для чего? Учителем своим он считал Таирова и приводил меня на спектакли. Теперь я вас, вероятно, разочарую... Я никогда не любил искусства Камерного театра".

На протяжении всего пути лицо Кузы не оставалось спокойным, пульсировало, меняло цвета, отвечая толчкам пусть неоформленных, но все же мощных мыслей, возникших во время рассказа. Последних слов он не ждал и растерялся:

"Зачем же вы..."

"С вашего позволения, — сказал старик, — я прилягу на парапет и полежу минуту ровно. Благо здесь никого нет, а мне необходимо".

Они подходили к морю с какой-то другой, незнакомой Кузе стороны.

Не цивилизованной, пляжной, где навстречу, облизывая эскимо, идут почти нагишом люди, где нехорошо пахнет из палаток шашлыком и кислым вином, их дорога называлась шляхом; сожженная солнцем, степная, под мягким слоем пыли, она казалась лишенной травы и жизни, но глубоко хранила и память о них, и остатки маленьких цепких корней.

"Здесь когда-то была удивительная бухточка, я ее помню".

"Не знаю, я впервые..."

"Вот видишь, сколько мы с тобой сегодня открыли! Не обижаешься, что я обращаюсь к тебе на "ты"?"

"Даже легче как-то..."

"Вот и хорошо!"

...Да, я не любил Камерный театр, как всякий не очень крепкий рефлексующий человек, я предпочитал другие лекарства, не столь пряные, изысканные, как Камерный, с его особым репертуаром, женственным героем-любовником, с его странным пафосом, да, да, меня пугал этот пафос, возвышенный настрой актерских душ, все это казалось алхимией. Мне нравился Мейерхольд... Ну, это другая тема, как-нибудь в другой раз. Мне нравились тогда парады, спортивные представления, цирк. Я хотел видеть мускулатуру актера, целесообразность каждого его движения. Мне казалось, что спасение возможно и для меня... А на Камерном мне становилось почти дурно от полного ощущения нереальности происходящего, хотелось встать и обвинить в фальши, но великая Алиса, но безукоризненная, совершенная работа Таирова! Я ругался с братом, клялся не приходить, с наслаждением смотрел в мастерской Фореггера (было и такое чудо в Москве) пародии на Камерный, но всегда поражался терпению и воле Таирова. Им руководило стремление к красоте, к красоте как высшей ис-

тине театра. Презрительная кличка Эстет его не обижала, он был слишком занят, чтобы расслышать ее. И еще мне говорили — он был добрым. А великий Мейерхольд... Ну, это другая тема, когда-нибудь..."

Сходя по крутой тропинке с обрыва, они поднимали ногами такую пыль, что казалось, приближается к морю меняющее форму облако, которое несут на себе, время от времени что-то внутри помешивая, два непонятных существа.

Обещанная золотобородым бухточка открылась перед ними.

"Если я дошел и не умер, — смеясь, произнес старец, — грех не испугаться, вода, я думаю, теплая необыкновенно!"

Он разделся быстрее Кузы, ни капельки не стыдясь своего тела, и, сделав несколько шагов по воде, пошел и поднялся на плоский, покрытый мхом камень.

Тонкий-тонкий, не прикрытый спасительным тряпьем старик. Стоял и смотрел. И тут, как маленькая мартышка, завозился Куза, будто его завели и подбросили. Он сделал двойное сальто, походил на руках, в три прыжка с разбега покорил значительное расстояние, зачерпнув песок в трусы, и все это с тайной надеждой, что золотобородый заметит. Золотобородый заметил, но не успел рассмеяться, потому что необъяснимо для них появилась на обрыве и направилась к бухточке колонна, состоящая из двух десятков детей и рослого мужчины в спортивном костюме. Дети опирались кто на костыль, кто на палку, мужчина даже вел одного совершенно счастливого мальчика, поддерживая за плечи, и видно было, как ужасны ноги поддерживаемого, буквально высохшие до кости.

Куза подбежал к старику. Его колотило от внезапной перемены событий. Дети приближались, оживленно разговаривая, как любые предчувствующие купание дети.

Старик обнял Кузу:

"Прости, я не знал. Здесь, вероятно, недалеко санаторий для больных детей... А буйствовал ты на берегу замечательно, я видел. Но мы в изящных беседах забыли, что есть несчастные, и наказаны".

Великий математик

Все последующие за этой прогулкой дни Кузе казалось, что золотобородого подменили.

На расспросы о Камерном он отвечал:

"Это не к добру, вы сами видели, я не могу".

Даже облик его менялся. Что-то неопрятное, какие-то признаки разрушения появились в Михаиле Леонидовиче. И так беспомощно перемещались его ладони вдоль одежды во время разговора, будто ими он хотел прикрыть всего себя, исчезнуть.

После ссоры с воровкой-соседкой он стал ничей. Так, какой-то неухоженный старик.

"Проходите, проходите, — говорила Гуськова, открывая дверь. — Вашто сегодня суп пытался сварить, смехота! Кушайте на здоровье!"

Старика не было видно из-за письменного стола, когда Куза вошел; сидя на корточках, он шарил вокруг, искал что-то в очередной раз закатившееся.

"Я никогда не думал, — сказал он, подымаясь, — что мне придется прощать плохих людей только потому, что я не могу обойтись без их помощи. Трудно рассчитывать на себя! Да вы сами видите..."

"Мы с Ириной все сделаем", — Куза поспешил поднять с пола свечу и брюки золотобородого. Старик постоял неподвижно, потом буркнул что-то и повернулся к мальчику:

"Неужели вы не понимаете, что это его козни? Им затеяно".

"Кем?"

Куза вдруг ясно ощутил, что в комнате двое, он и золотобородый, и не так уж она велика, эта захлавленная комната. Вот так всегда — приходишь к старому человеку с простым вопросом, все обыкновенно, а отвечает тебе как бы рой голосов, сидящих в нем, какие-то призраки, прошлое... Стало страшно.

Но золотобородый и сам заметил волнение мальчика, взял будильник, стал поспешно заводить, и равномерные щелчки поворотов успокоили обоих.

"Какое сегодня число?" — спросил Савицкий,

"Пятое июня".

"Ты давно не был в театре?"

"В театре?"

"Да. Хочешь пойти со мной? Кто знает, может быть, нам повезет?"

"Хочу, конечно".

Если бы Куза знал Савицкого дольше, он бы заметил, что степенные приготовления к походу в театр выдавали волнение куда больше, чем суета. И вообще старик преобразался.

Куза в отсутствие Гуськовой стянул на кухне кусок марли и теперь разглаживал пиджак Савицкого абсолютно неумело, но с охотой. Он на-

чинал понимать, что старик извлекает сейчас из тайников какие-то забытые привычки, как фокусник — волшебный реквизит.

Мало надеть последнюю свежую рубаху, попросить Кузу завязать особым узлом галстук и научить его этому, мало обрызгать себя и мальчика жидкостью из древнего флакона с крючковатым металлическим носиком и резиновой грушей — надо было что-то в самом себе нащупать, передвинуть, изменить, потому что (так думал Куза) их ждал Театр.

Он не пропускал ни одного движения старика, окрестив их мысленно "танцем старого театрала". Так оно и было, да, так оно и было...

"Ну, как я выгляжу?" — во всем теле старика появилось какое-то изящество и даже фатоватость, но исчезла, как ни странно, печать мужественности, замеченная Кузой на пляже, хотелось дать старику в руки ридикюль и зонтик со словами: "Шагай, бабушка, шагай!".

Они проследовали по коридору мимо ошеломленной Любки, как два прославленных чечеточника.

Наверное, им повезло. В театре давали "Гамлета". Среди летней вечерней толпы на не остывшем за день асфальте хорошо стоять у рекламных тумб и читать театральные афиши, потому что театральные афиши прохладны.

"Гамлет", — сказал Куза.

"Да, да, что поделаешь, пусть "Гамлет", уже все равно... Вот пять рублей. Билеты, я уверен, есть, бери самые дорогие, даже в первый ряд, — старик оглянулся. — Но только не проговорись, что я иду с тобой".

"Кому?"

"Любому — кассиру, билетершам, пусть это будет сюрпризом".

"А разве вас знают?"

"О да, меня отлично знают! Вот там я буду стоять, через дорогу от театра, иди, иди".

Мальчик ощутил, как колотит его друга беспричинная дрожь. Снова ла, как челнок, старческая рука, вручая деньги, лоб вспотел, нетерпение овладевало им.

"Скорее, ну, скорее!"

Когда мальчик через несколько минут вернулся, старик сидел прямо на грязных ступеньках маленького фотоателье спиной к нему.

"Вы не ошиблись — действительно только первый, вот без сдачи".

"Первый? — переспросил Савицкий. — Это очень нехорошо — смотреть из первого ряда. А может быть, не стоит, а? Пусть он живет, как хочет, в конце концов, не стоит, а?"

"Вы передумали идти?"

"А тебе хочется?"

"Честно говоря, настроился".

"Тогда, — старик стоял в профиль, и свет, перебежавший с театральной стороны улицы на эту, неосвещенную, превращал его в оперного персонажа, — тогда я не стану мучить тебя. Пусть это будет продолжением нашего разговора о Камерном. Вперед, мальчик!"

А дальше... Куза мог поклясться, что полная билетерша забеспокоилась, увидев золотобородого, но тот действовал с такой вдохновенной настойчивостью, так крепко держал перед собой за плечи мальчика и билеты не дал, а буквально всадил в руки билетерши, придерживая вторую половину, да так, что она, подчинившись, надорвала, отпустила...

И уже после Куза заметил, как она, размахивая руками, подозвала кого-то, оставила вместо себя, побежала и скрылась за кожаной дверью.

"Не шевелись, — шепнул старик, когда они очутились за колонной. — Не надо прятаться, стой неподвижно, и никто тебя не заметит".

Куза совсем ничего не понимал, но эта игра ему понравилась. Он чувствовал, как старику весело.

"Сейчас этот раб пробежит мимо, видишь, с черным лицом? Нет, он не африканец, он — администратор. Неужели и в туалете будут искать?"

Крошечный человечек с круглым лицом, как бы покрытым ваксой, действительно впорхнул в туалет и, скривившись, вылетел, чтобы искать их дальше. Потом вернулся, а когда остановился, взмыленный, рядом с ними, Кузу поразило, что пахнет от него не потом, а каким-то чудесным детским мылом.

"Молодец, старается, — тихо засмеялся старик. — Сейчас предупредит всех дежурных по залу".

Так оно и случилось — Африканец перебежал от двери к двери, всем женщинам что-то нащebetывая.

Когда раздался третий звонок и в фойе стало сумрачно, так как самое интересное переместилось в зал, старик взял мальчика и уверенно зашагал к средней двери справа, уже полуприкрытой. Навстречу ему выскочила женщина.

Та же униформа, что у остальных, те же пуговицы, но с таким расстроенным человеческим лицом, которое делало ее абсолютно незащитной.

"Да, Валечка, это я", — старик пожал суконный локоть женщины.

"Михаил Леонидович, нельзя".

"Валечка..."

"Михаил Леонидович! Не велели!"

"Все знаю, Валечка. Но я не один", — и старик кивнул на Кузу.

"Мальчика я посажу, Михаил Леонидович".

"Дорогая моя, да разве я зверь — оставлять ребенка здесь одного?"

"Ой, Михаил Леонидович!"

"Ладно, дружок, ладно".

И под звуки увертюры, освещенные светом из лож, они проследовали на виду у всех в центр первого ряда. Потом старик оглянулся.

"Посмотри, почти полный зал. Какой ужас!" — сказал он.

И начался "Гамлет". Как и все немногие Гамлеты Витиной жизни, да и любой другой, начался в темноте, изредка поблескивая тут и там вкрапленным металлом, и, как обычно, люди выясняли отношения в Эльсиноре, люди торопились к развязке, но впервые рядом с таким соседом разделил мальчик тревогу происходящего.

"Кого мне больше жалко? — думал он. — Золотобородого или Гамлета? Кого?"

Ему даже показалось, что Гамлет нет-нет да и оглянется на старика из первого ряда, или это артист старался овладеть вниманием зрителя?

Зачем стараться, когда старик и без того сидит неподвижно и прямо, как наваждение, и там, на сцене, чувствовали это и пытались воздействовать на него всем, чему их учили. Но только один-единственный раз старик шевельнулся и, не поворачивая головы, сказал о Гамлете: "Наш хороший простой советский парень".

В антракте они остались сидеть, и, подперев рукой щеку, старик говорил глухо:

"Я снова в дураках, ведь все в порядке, ты чувствуешь, насколько все в порядке? Ну, не звучат стихи, но кто сегодня помнит, как они могут звучать? А то, что ходят напыщенно, не трагически, а именно напыщенно, зритель простит — потому что кто видел Коонен в "Федре", кроме старого дурака из первого ряда? И вообще, рвать в клочья таких знатоков-любителей, как я! По ветру их, по ветру! Но он-то всему этому учился, ну, они — неучи, но он-то? Таиров говорил об особом жесте в трагедии: "Персонажи трагедии как бы ощущают силу земного притяжения!". Вот как он говорил! А здесь, ты разве не чувствуешь, как аромат послеобеденной отрыжки витает над сценой? Таиров писал об актере, освобожденном от пут быта, о новой, другой реальности — реальности театра. Ну, они могут не знать об этом, неучи, дети, но он, он! Его надо было бы уничтожить как лжесвидетеля!"

Заметив, что к нему начинают прислушиваться, старик замолчал.

Куза продвинулся ближе:

"О ком вы все время говорите? Кто это "он"?"

"Он — это мой брат".

Черное, ваксой вымазанное лицо склонилось над ними, хриплым, взволнованный тенорок говорил с оттяжкой: "Я-я-я прошу-у-у вас немеее-дленно покинуть театр!".

"Постыдитесь мальчика. Мы купили билеты".

Тенор набирал высоту:

"Если вы не покинете! Наш режиссер сказал, что спектакль продолжен не будет! Я прошу вас! Деньги вам возвратят!"

Антракт закончился, но свет не убирали, для столпившихся в проходе людей черномазый разыгрывал дивертисмент.

"Немедленно уходите, немедленно! Старый человек, не заставляйте людей ждать!"

Золотобородый поднялся с места и, покорно взмахнув рукой, пошел к выходу, Куза за ним, администратор за Кузой, раздаривая улыбки садящимся. На пути им попала Валечка и метнулась в сторону, пропуская; Куза слышал, как спросили ее:

"Кто это? Пьяный?"

И плачущий Валечкин голос ответил:

"Какой он пьяный? Просто больной человек!"

"Неужели впустили сумасшедшего?"

"Ну, впустили, вам-то что?! Он — чудесный старик".

В фойе администратор бросился к той самой, кожаной, двери, и тотчас из нее вышел высокий полный человек и направился к ним.

"Миша, — сказал он, — зачем ты пришел, Миша? Тебе нельзя".

"Боишься меня?" — спросил золотобородый.

"Мишенька, тебя подвезет мой шофер, а я приеду после спектакля".

"Ты — лжесвидетель, — сказал старик. — Гнусный и подлый лжесвидетель!"

"Хорошо, Миша, хорошо, — тут полный заметил Кузу и спросил: — Ты с ним, мальчик?"

"Да".

"И покупал билеты ты?"

"Да, я".

Тогда человек, лицо которого казалось мальчику на протяжении всего разговора уже виденным где-то, сказал:

"Нельзя быть равнодушным в твои годы, надо думать, что делаешь, надо жалеть психически неуравновешенных людей".

"Он нормален, абсолютно нормален!" Куза понимал, что если не остановиться, он бросится на этого элегантного старого господина и страхнет с него весь лоск, всю элегантность, и выцветшие голубые глаза его Куза ненавидел.

"Пойдем, пойдем, он прав", — золотобородый легко подтолкнул мальчика к выходу.

"Я заеду к тебе сегодня," — донеслось из фойе.

"Он прав,— повторил на улице старик. — Мне забывать не должно, что я прежде всего математик, великий математик..."

И он, как бы потеряв мальчика навсегда в темноте летнего вечера, ускользнул со всеми своими догадками, озарениями, болезнями. А мальчик стоял у театра, отягощенный раскрывшейся тайной, и за спиной его на большом репертуарном щите еще можно было разглядеть, приблизившись, три слова: "Главный режиссер Б.Л. Савицкий".

Часть 2. Как играть трагедию

И Куза заболел. Как будто прорвалось звено в цепочке летних дней, и пустоту надо было заполнить,

Вместе с золотобородым ушли ответы на незаданные вопросы, ушло и беспокойство. А неясная обида помучила немного, чтобы смешаться с болезнью.

Теперь он лежал на высокой родительской подушке, гордо сознавая границы собственного тела, с его особым климатом и теми крошечными облачками забытья, после которых выступали слезы.

И что ему, отделенному болезнью, борьба между августом и подступившими с моря осенними ветрами?

Чьей-то уверенной рукой начертаны карты древнего мира, оставленные ушедшей мамой. Мама — историк, но это не значит, что Куза любит историю, просто он всегда во время болезни рассматривает — если не каштан за окном, то эти карты. Они, как болезнь, в бесконечных черточках и курсивах.

"Понт Евксинский, Понт Евксинский... Камерный театр, Камерный театр... При чем здесь Камерный? Черное море называлось Понтом Евксинским, наше море, я знаю".

Стоял на площади посреди древних Афин золотобородый, держа в руках хлебную сайку, как лиру. И слетались птицы.

Когда это было? Да, на следующий день после театра! Из парадного, едва успев туда заскочить, видел мальчик, как шел по улице Михаил Леонидович, за ним Гуськова. Он был носителем авоськи и еще чего-то блестящего, черного, с пуговицей посередине. Из этого черного извлекла Гуськова серебряную мелочь, когда они поравнялись с булочной, а потом опустила кошелек назад, в стариковский карман. Он, казалось, не замечал ее манипуляций, стоял и смотрел, взглядом скользя над улицей. Потом Гуськова вынесла сайку и какой-то пакет, пакет вложила в авоську, а сайку Савицкий не отдал, прижал к себе. Близко-близко, рядом с Кузой, проплыло лицо Савицкого с засохшими ручейками каких-то капель, вероятно, небрежно закапанных Гуськовой.

Все вернулось вместе с кривоногим опекуном — и дряхлость, и умирание. Уходил Савицкий кушать на кухне компот.

"Жители Афин! — обратился Куза к тем, чьи белые и легкие одежды колебал ветер с Эгейского моря. — Благородные греки! Спасем старика Савицкого! Может быть, он действительно великий математик или актер великий?"

Но много забот у афинян, день только начинается! Через Босфор и Дарданеллы вливаются воды Понта Евксинского в Эгейское море и обратно... "Слушайте передачу "Театр у микрофона", — сказал диктор. — Сегодня у нас премьера — возобновление спектакля Московского Камерного театра "Мадам Бовари" в постановке Александра Таирова. Режиссер возобновления и исполнительница главной роли — народная артистка РСФСР Алиса Георгиевна Коонен". "Кто в остальных ролях? Кто в остальных ролях? Чья музыка? Почему я ничего не слышу и нет сил протянуть руку, сделать звук громче?"

Но тут после волшебной увертюры несколько слов произнесла она, и Куза совсем забылся.

Голос

Сколько же нужно молчать, чтоб так заговорить!

Голос, как лестница в небо, бесконечные ступени, бесконечные... Нет, нет, он колотится в горле, а звуки разлетаются в клочья, в созвучия. И нет других.

Куза пискнул из-под одеяла, чтобы увериться, насколько тщедушен его собственный голос, в щель копилки опустить, и только.

Вот он лезет туда, плоский, скучный, а вместо — в комнату проникает ее, без стыда и совести, голос, карнавал какой-то!

"Радио, — думает Куза, — развивает воображение, я люблю радио, мне не надо показывать — я вижу!"

Теперь она бежала там, в студии, мадам Бовари, а за ней торопливо — другие, актерские, немолодые голоса, их не в чем было винить, вышел срок, звучат как могут. Потом — она же просто отобрала у них весь воздух, дышать нечем!

"Как она это делает? Как она это делает? Понять, понять! Разве голо-сом рисуют?"

Так, трехлетнего, приведенного мамой в женское отделение бани, потому что некуда было деть, Кузу подхватил десяток нагих и прекрасных рук, а потом его, намыленного сообща, окатила под громкий хохот горячая волна из шайки, да так, что он поехал, удерживая равновесие, по скользкому полу, и сквозь завесу пара между ним и женщинами он увидел их всех сразу, сбившихся в комок, растерянных, в безнадежной попытке помочь ему... Они молчали, но ее голос сейчас кричал за них!

И губы у мадам Бовари, наверное, как у мамы, полные, пунцовые, добрые!

Она ничего не скрывала, она была абсолютно беззащитна, голос выдавал ее!

Когда казалось — ему конец, сорвется, погибнет, он падал в прекрасную музыку, чтобы через минуту снова возникнуть.

"Она их не слышит, своих партнеров, — лихорадочно соображал Куза. — С кем она говорит, с кем же! Ага! Она говорит с музыкой!"

Ох, как хотелось придаться и обвинить ворчливым тоном пятнадцатилетнего:

"В комнате так не разговаривают, действие-то происходит не на площади, в комнате, вы же не сумасшедшая какая-нибудь!" — но вместо пришла простая мысль: "Я никогда не стану актером", и чей-то дразнящий хохоток: "Духа-ха не хватит, духа-ха, духа-ха!". Она была свободна, эта погрязшая в долгах Бовари, а он уже сейчас обучен, когда молчать, когда говорить. Надо найти ошибку, надо, надо! Не явилась же она сюда, чтобы лишить Кузу надежды? И, присев на постель, в сиреновой маечке, с марлевым компрессом вокруг горла, подавленный, несчастный, стал Куза свидетелем, что и этот голос не вечен, вот он спотыкается, спотыкается и не за что ухватиться, сейчас заглохнет, чтоб потом стать обычным голосом радиотеатра. Да это же просто раненный голос, раненный, да, да, как же он раньше не заметил?! Стало слышно усилие актрисы скрыть рану, обмануть его, Кузу.

Еще один взлет, а там уже агонизирующий стон мадам Бовари: "Зеркало, зеркало!" — она задыхается, конец спектакля.

И никакого волшебства. Мадам Бовари умерла по-настоящему.

"Вероятно, у нее просто не хватило сил умереть красиво", — облегченно думает Куза и, лежа на постели, смотрит в потолок, пытаясь воспроизвести предсмертный голос Бовари, но выжимает из себя только кашель...

А недалеко, на улице Подбельского, 15, в квартире 72 сидит на стопке книг золотобородый и думает про Кузу: "Слышал ли он, знает ли он, что этой Бовари уже... семьдесят лет; она — моя сверстница, Эмма Бовари...".

В комнату заглядывает Гуськова:

"Баиньки пора, Михаил Леонидович, ваш братец говорил: "Надоедай-те ему, Любовь Андреевна, с режимом! И почаще!". Вот вы опять на полу сидите..."

И счастливым голосом человека, к которому только что вернулся друг, крикнул золотобородый:

"Пошла вон! Вон!"

Игрушки Анны Карловны

Завуч собрала их и сказала: "Нам повезло. У нас теперь будет новый руководитель школьного театра, с вами согласилась работать уважаемая Анна Карловна Карлос!"

И под раздавшиеся аплодисменты Куза вспомнил, что в прошлом году им уже "везло" — Марк Григорьевич, прежний руководитель, всегда засыпал в то время, как они старались выполнить его бессвязные указания. Тогда они рассаживались вокруг, хором поддерживая Маркушин храп. "Мне так удобнее, — говорил он, просыпаясь. — Я лучше слышу с закрытыми глазами..."

Беспомощный, но добрый старичок! Где он теперь? Кого учит театру?

Сейчас вся их прославленная школьная труппа, вытянув шею, разглядывала Анну Карловну из актового зала. Мальчишки переглянулись, Ирина шепнула Кузе: "Фея, правда?".

Даже статная дама в строгом сером костюме, их завуч, первый раз в жизни почувствовала себя неуверенно, взглянув на ту, кого сейчас представляла, и по ступеням торопливо спустилась в зал, предпочитая превратиться в обыкновенного зрителя.

И так легко произнесла Анна Карловна: "Театром могут заниматься все, буквально все! Талантливых людей много!" — что некоторые облег-

ченно заулыбались, как дождавшиеся выздоровления, а Сережа Малько взглянул на Кузу с вызовом.

Седая, женственная, энергичная, в темном бархатном платье, она стояла по-особенному, почти в профиль, вероятно, на сходство с кем-то намекая. И оттого была похожа сразу на многих.

Но неназойливые интонации, проникая в зал, действовали обезоруживающе мягко. Ей не нужен был свет софитов, она пользовалась своим собственным внутренним светом, который легко зажигала улыбкой. Само обаяние в бархатном платье, такое немного старомодное, милое, обращалось к ним. Оно слегка размахивало какой-то, вероятно, надушенной бумажонкой в такт своим речам, и приятно потрескивал воздух от ее движений... В самом деле — фея!

"Я не буду учить играть, — говорила она. — Я научу вас жить на сцене, жить реальной жизнью, в предлагаемых обстоятельствах, как завещал нам Константин Сергеевич Станиславский".

Это заявление обескураживающе подействовало на Кузу — ему впервые обещали так много, и это в считанные часы занятий, отведенные драмкружку?

Мальчик встревожился, но Иренино плечико вздрагивало рядом так счастливо, что Куза решил: "А кто ее знает, эту Карлос, вдруг действительно может?"

А потом все пятнадцать человек были приглашены на вечерний чай домой к Анне Карловне. "Я хочу кое-что вам показать!" — весело сказала она.

"Адрес, адрес!" — закричали дети, и внезапно та самая надушенная бумажонка оказалась адресом, ее подхватили, и пока переписывали, вырывая из рук, Куза слышал, как завуч спросила у Карлос:

"А это педагогично?"

"О, очень, очень педагогично, я всегда так начинаю".

Когда куда-то было надо и не хотелось, Куза говорил себе: "Вспомни — у тебя много дел". И всегда оказывался прав.

Помимо несделанных уроков надо было овладеть верчением тросточки так же умело, как любимый клоун Леонид Енгибаров. Мальчик пытался вертеть ее часами, она вырывалась из рук, скакала по квартире, как шальная, царапала стены, полировку, а иногда, возвращаясь, била Кузу по лбу!

Родителей встречала вечером вся в увечьях комната и любимый сын с шишкой на лбу. Но зато... каким денди он становился, когда попытка удавалась, с тончайшей улыбкой на лице, маленькой куколкой прохажива-

вался по комнате, самый выразительный, самый легкий... Иногда он занимался в коридоре, но, облаянный соседской собачонкой, возвращался...

Куза вздрогнул, когда с улицы донесся голос Ирины: "Витя! Витя!".

"Пришла за мной", — понял он и уже готовился отказать, когда увидел всю ее в кремовом плаще, стоящую на осенних листьях, у каштана. Задранная вверх мордашка улыбалась... "Что с того, что она ничего не понимает? — подумал Куза. — Кто у меня есть, кроме нее? Разве что — золотобородый..." И ответил:

"Подожди минуточку, сейчас выйду".

А потом они шли по городу, обнявшись за плечи, очень-очень сосредоточенно. И конечно же, фея жила в одном из самых красивых домов; на первом его этаже мягко светилась изнутри аптека, и кроме основного помещения, где толпились люди, была видна комната, посреди которой, казалось, дышали разноцветные колбы под присмотром двух существ, напоминающих женщин в белых халатах. На старом кружевно-решетчатом лифте они поднялись наверх буквально святым духом. Все было, можно сказать, волшебным, пока за дверью Анны Карловны не заорал ребенок.

"Надоело, надоело! Слышишь, Аня, надоело!" — говорила незнакомая женщина, а другая ей отвечала:

"Потерпи, я не могу жить без людей, это мой метод, в конце концов!"

"А куда ребенка деть прикажешь?"

"Об этом раньше надо было думать, милая!"

Звонок Ирины и Кузы был некстати. Они пришли первыми. Но, увидев их, Карлос закричала: "Соня, Соня, посмотри, какие они красивые, нет, ты только посмотри!".

Наверное, Соне было очень некогда, потому что она выскочила из какой-то комнаты, всклокоченная, с бутылочкой молока в руке, недоуменно спросила: "Кто прицел? Чего ты шумишь? Ах, эти дети? Здравствуйте!" — и скрылась.

Как кот в сапогах, церемонно приседая и оглядываясь, Анна Карловна ввела ребят в комнату.

"Вы — самые первые, — сказала она. — Посидите, осмотритесь, я исчезаю на секунду..." Мягкая ее спина в чем-то вечернем колыхнулась нарочито роскошно, обдав детей запахом тонкой пудры. "Ого, как умеет!" — испугался Куза.

Судя по комнате, могло показаться, что ее хозяйке никак не удастся согреться. Разнообразные пледы, клетчатые шотландские, одноцветные наши, висели и лежали повсюду, камина не было, а центром являлось трю-

мо, какое видал Куза в театральных примерных, и почему-то именно оттуда тянуло холодом и пустотой.

Все-таки незнакомой Соне здорово доставалось, потому что каждого новоприбывшего Карлос приветствовала криком: "Какой же вы красивый!" — и требовала свидетельства Сони.

Потом, когда все собрались, Карлос села так, чтобы отражаться во всех трех зеркалах, ноги закутала пледом, и гости (Куза мог поклясться!) повторили ее движение. Даже Ирина. Особенно тревожно стало, когда черным веером, подарком покойной великой актрисы, велено было всем обмахнуться, а от веера с каждым взмахом все сильнее пахло дворовой кошкой. Под этот запах пили чай, рассматривая фотографии Анны Карловны в каких-то прошлых ролях, благоговейно.

"Спросить или не спросить о Камерном?" — подумал Куза, но все еще не решался.

"Этот слюнявчик подарил мне мой учитель в день моей первой премьеры, — хохотала Анна Карловна. — Не знаю, отдам ли его даже маленькому Алику, когда он повзрослеет. Слышите? Это он кричит, сын моей сестры, крошка Алик!" — и конфиденциально, чтобы не слышала Соня, сообщила, кто отец ребенка.

Девчонки засуетились:

"Анна Карловна, неужели, неужели? И похож? Покажите нам его, покажите!"

А потом по одному входили в комнату, у дверей которой стояла измученная Соня, наклонялись над мальчиком, восторженно переглядываясь...

Куза выходил последним. Наверное, у него было недоуменное лицо, потому что Соня сказала:

"Ребенок как ребенок, — и добавила: — А отец его — сволочь!"

В конце визита читала Анна Карловна стихи Блока, и то ли от усталости, то ли от уверенности, что вечер удался, читала плохо, и опустив глаза, увидела, что никто из детей этого не заметил, кроме Кузы...

Встреча с методом

У дверей актового зала люди тихо-тихо скользили по паркету под наблюдением испуганной старушки вахтерши, пересаженной сюда снизу, чтобы следить за порядком. Школа становилась на осадное положение — Анна Карловна репетировала.

Тех, кого отметила божественная печать, завуч освободила даже от

уроков, и дело не в престиже школы на районных и городских смотрах, просто так велика ее любовь к искусству.

Сейчас она объясняла в учительской взволнованным учителям:

"Нам же лучше — дети станут культурнее, тоньше!"

"Но почему за счет знаний?" — недоумевал маленький, вечно небритый учитель физики Вениамин Сергеевич.

"Слушайте, дорогой Вениамин Сергеевич, что изменят два, три урока? Просто будут меньше смотреть в окно, я же у вас присутствовала, я наблюдала... И потом, школа известна своими культурными традициями, Зинаида Николаевна, вы со мной согласны?"

Зинаида Николаевна, директор школы, утвердительно махнула головой, потому что ей было все равно. Ей, пришедшей с поста замдиректора кондитерской фабрики, никак не удавалось привыкнуть к школьной планировке, где в тесных комнатах сидит скопление людей и смотрит прямо на тебя. Даже неловко как-то, честное слово!

Зинаида Николаевна предпочитала разговоры с глазу на глаз, как в прежние времена, и сейчас она чувствовала смущение, что ли, под взглядом недовольных учителей. Она поднялась и вышла.

"Как дела?" — строго спросила она у вахтерши и усадила энергичным жестом на место, когда та, ободренная вопросом начальства, затарахтела: "Репетируют, Зинаида Николаевна, репетируют, а как же, страсти какие, страсти...". Старушка захлебнулась, и некоторое время обе прислушивались к происходящему в зале...

"Еще раз! Активнее! Активнее!" — кричала Анна Карловна трясущимся Сережке Малько, у которого от ее крика цепенели пальцы на кнопках баяна, не подчинялись. "Шаг резче, определенной, активней!" И колонна ребят, среди которых Куза, в марше шагала по проходу.

Куза шел, пытаясь постичь метод Анны Карловны.

Сначала они прочитали пьесу, которая оказалась пьесой в стихах, что, неясно по какой причине, обрадовало мальчика. Он читал много случайных пьес и всегда искал какой-то особый порядок в речи персонажей. Стих был именно таким порядком, Кузу успокаивало все, что влекло за собой новое умение, которого у мальчика еще не было.

"Что ты там шелкаешь языком, Куза?" — раздражалась она.

"Я пытаюсь свистнуть, как вы просили, Анна Карловна!"

"Но ты же прекрасно свистишь и так..."

"Можно поинтересней, Анна Карловна..."

Если бы она могла обойтись без этого мальчика!

В семь утра она вставала, чтобы получить в поликлинике питание для Сонькиного ребенка, забежала на рынок, возвращалась и, едва приняв ванну, неслась во Дворец пионеров, где тоже работала, оттуда в 107-ю школу, из 107-й — сюда...

Ну, нельзя же так смотреть на загнанного человека, честное слово, этот мальчик слишком серьезен!

Она просто хотела нравиться всем, быть любимой, это удавалось...

Но вот он перестал конспектировать за ней, и все репетиции полетели к черту...

"Не может быть, опыт обязан действовать", — упорствовала она в душе, пытаясь разбудить воображение ребят вопросами о сути происходящего.

"Куза, почему ты молчишь?"

"Я не могу участвовать в болтовне".

"Ах, ты гордый!"

"Я просто пытаюсь понять, чего вы хотите, Анна Карловна".

"Мой учитель говорил о таких, как ты, — это исполнитель, не творец, а исполнитель, понимаешь?!"

"Понимаю, Анна Карловна".

Какой-то тихий бунт при полном послушании. Если бы она могла обойтись без этого мальчика!

"Значит, театр делается так, — думал Куза. — Ага". И вспоминал золотобородого. Ему не нравилось, что на репетициях он уставал, ничего по существу роли так и не предпринимая.

Не нравилось, что от него требуют оставаться самим собой, хотя самим собой надо прежде всего стать, во всяком случае, в театре.

И он ловил эту нарядную женщину на небрежности к его актерским ошибкам.

Чего же она добивается, когда хвалит Ирину, такую беспомощную на сцене, крикливую?

Однажды во время Ирениного монолога Куза притронулся к ней чуть-чуть сильнее, чем обычно, и она на несгибаемых ногах пролетела, как заводной цыпленок, через всю сцену и ударилась о портал. Вот какая свободная!

Но зато сколько было в ней презрения, когда Куза предложил свою помощь.

"Некоторые, — сказала она громко, чтобы слышали остальные, — некоторые большие театралы любят советы давать, а у самих нет души".

"Кто тебе сказал, что у меня нет души?" — спросил растерянный Куза.

"Сами видим — не слепые," — Ирина пошла к Анне Карловне, которая, конечно, все слышала.

И тогда Куза оглянулся, потому что ему показалось... Ну конечно же ему показалось, будто не его друзья сидят рядом, а какая-то труппа лилипутов с расплаженными актерскими физиономиями, и лицо Анны Карловны, глядя на него, сморщилось, как у затеявшей пакость обезьянки.

"Ты, говорят, увлечен Камерным театром?" — торжествующе спросила она.

"Мне просто интересно..."

"Ах, тебе интересно! Почему же ты не спросишь, я видела этот театр, хорошо знаю его героиню, могла бы и рассказать".

"Вы знакомы с Коолен?"

"Конечно".

Куза чувствовал, что его куда-то волокут, и не надо, не надо поддаваться, но все-таки спросил очень тихо:

"Какая она?"

"Алиска? (она именно так и сказала — Алиска!). А ты ее когда-нибудь видел?"

"Я слышал по радио "Мадам Бовари".

"И тебе понравилось?"

"Да. Очень интересно".

"Вот, — сказала Карлос. — Теперь все понятно, отлегло от души, а я все присматриваюсь к тебе — что-то в тебе таится, кроется что-то... Теперь, слава богу, понятно! Она — кривляка, милый мой, твоя Коолен; ты прислушайся, как она дышит, как нарочно взвинчивает себя, однообразная кривляка!"

"Анна Карловна, не надо..."

"Почему же? Я видела, я знаю... Боже мой, как она набирает воздух во время стиха! Это же надо делать совсем иначе", — и она показала...

Под правильно поставленное дыхание Анны Карловны смеялся мальчик так, как не смеялся еще ни разу в жизни.

Потом он встал на руки и вышел из зала.

Пушкин

Он уже полчаса стоял в кабинете завуча и чувствовал, как ей хочется его ударить. Но тут к обоюдной радости за окном окончательно смерклось, и начался дождь.

Хоть и шел он как-то боком, кривовато, зажатый между школой и соседним домом, оба испытывали облегчение.

Завуч встала и незаметно для мальчика притронулась пальцами к сейфу, как к чему-то очень надежному.

"Анна Карловна нелегко мне досталась, а без тебя школа может и обойтись".

"Я понимаю, — пробормотал Куза. — Я понимаю", — и в эту минуту пришла в голову та самая мысль... Теперь он смотрел на завуча просветленно и покорно.

"Что с тобой? — испугалась она. — Только не говори, пожалуйста, что ты болен, меня этим не проймешь!"

Как он благодарен сейчас этой строгой женщине за вызов в кабинет, потому что под ее монотонные упреки, перешедшие в шум дождя, хорошо думалось!

"Что я должен сделать, Елена Павловна? Уйти из драмкружка? Я согласен, я по химии отстал..."

"А из школы ты уйти не хочешь? За два месяца до смотра? Единственный исполнитель?! Нет, ты придешь на репетицию, извинишься и будешь молчать до самой премьеры! Анна Карловна — очень больной человек. А деньги? Ты думаешь, достаточно мы ей платим за каторжный труд?"

"Я об этом не думал".

"Потому что не горбатился никогда, — глубоко вздохнула завуч и ударила по сейфу ладонью. Убедившись, что звука не получилось, она решила кончать разговор. — Ничего, погорбатишься еще, погорбатишься, иди домой".

Но не домой торопился мальчик, когда, прикрывшись ранцем, перебежал под дождем улицу, и трамвай, в котором он ехал сейчас, следовал по другому маршруту, а маленькая улочка с двухэтажными неснесенными домишками была чужой и давно. Здесь на первом этаже жил Володька Гальперин, и тому, что Куза не ошибся, свидетельствовали турнирные часы на подоконнике и маленькие магнитные шахматы.

Пришлось стучать долго, так как обладатель этих сокровищ, конечно же, спал.

Вот он неторопливо шагает, очень недовольный...

"Чего надо?" — спрашивает он Кузу через стекло в двери.

"Открывай, открывай, ученая крыса, я весь мокрый!"

"Мы же не договаривались..." — продолжает занудствовать невыспавшийся гроссмейстер, но Куза перебивает:

"А я пришел, взял и пришел!"

Кузе так хорошо здесь, что вслед за тяжелым ранцем он снимает ботинки, сбрасывает на табурет намокшую одежду. Теперь они стоят босиком, голые до трусов и хохочут.

"Нет, серьезно! — говорит Володька. — Если что-то случилось, мог мне и в школе сказать. Взял в привычку будить рабочего человека!"

"Что же ты делаешь, рабочий человек?" — спрашивает Куза.

"Думаю, — совершенную правду отвечает Гальперин. — А что Елена говорила? Из школы тебя не выперли?"

"Нет, я им еще нужен".

Они сидят на кухне у печки, греются, и Володька кричит:

"Не тронь жаркое руками! Бабушка на неделю готовила!"

Куза знал, что между ним и Гальпериным всегда останутся такие особые, са-мо-вос-ста-нав-ли-ваю-щие-ся отношения, и все потому, что Куза не дал ответа...

Несколько лет назад, в пятом классе, подошел Гальперин к Кузе на перемене и брякнул смущенно: "Давай дружить".

Куза даже оглянулся, так ему стало неловко.

Солнечный школьный двор с порхающими девчонками, среди которых Ирина, не располагал к такому сложному разговору.

"Я не знаю — как это... — замаялся Куза, пытаясь не обидеть Гальперина. — Вот мы учимся вместе... Получится — конечно, будем дружить".

С годами у них что-то получилось, но ответа чуткому Гальперину Куза не дал, и каждый раз они пытались либо завершить тот разговор, либо выбросить из памяти. Вообще они были самостоятельные, уважающие друг друга люди со своими заботами и страстями.

"Пушкина любишь?" — спросил Куза.

"Идиотский вопрос! Ты за этим пришел?"

"Ага. Хочешь сыграть Сальери?"

Гальперин попробовал рассмеяться, но лицо Кузы поразило его. "Ты совсем помешался, Витька, какого Сальери? С моим "л"?!"

"Именно с твоим "л", с твоей железной логикой, с твоей силой! А что — у Сальери могло быть дурное произношение — он не Моцарт!"

"Да я никакого отношения к театру не имею! И не хочу!"

"Вот это и хорошо. Ты не имеешь, Игорь не имеет, Санька, но если я умею, а вы захотите мне помочь, у нас получится, — и, распушив ладонью ошеломленному Гальперину волосы, Куза крикнул: — С Пушкиным не пропадем!"

И тут показалось Гальперину, что только что он получил ответ на давнее предложение.

"Если для смеха..." — начал он.

"Звони, звони остальным!"

А потом они вчетвером склонились над Пушкиным в низенькой бабушкиной комнате, и вовлеченный в "эту авантюру" (как он выразился) лучший математик школы Санька Меньшов недоумевал:

"Да, но мне что делать? Никакой роли Черного человека здесь нет!"

"Она будет!"

"По какому принципу ты нас назначил? Неужели я так пугающе уродлив?"

"Именно так!"

Игорь соглашался играть скрипача, объяснив это только нереализованной страстью к музыке и полным отсутствием слуха. Кроме того, яхт-клуб уже был закрыт, и времени свободного до черта!

Днем Куза честно "отрабатывал" на репетициях Анны Карловны, отбивая маршевый шаг в проходе, объясняясь на сцене в любви Ирине, ставшей примадонной, и всех недоброжелателей приводил в недоумение своим счастливым и ласковым видом.

Люди, вы ничего не знаете, у меня впереди — Пушкин!

И как все абсолютно посторонние и одновременно очень добросовестные люди, его друзья увлеклись...

Игорь прерывал репетицию восклицанием:

"И ты утверждаешь, что театр — это серьезное дело для мужика?!"

"Что ты — наоборот!"

"Мамоньки мои!" — и они продолжали.

Они обрадовались, открыв для себя, что театр живет не одним "наитием", а требует точности и работы, и трогало Кузу их желание, воспользовавшись репетициями, немедленно постичь то, чему он хотел посвятить годы.

"Смотри, — говорил Санька, открывая одну из пушкинских книг. — Удивительная мысль, я рад, что могу подарить ее тебе. На такой мысли можно построить всю свою карьеру и даже написать диссертацию, ты ведь напишешь когда-нибудь диссертацию? — и он читал: — "Правдоподобие все еще полагается главным условием и достоянием драматического искусства. Что, если докажут нам, что самая сущность драматического искусства именно исключает правдоподобие..." — слушай дальше: "...где правдоподобие в здании, разделенном на две части, из коих одна наполне-

на зрителями, которые условились, etc.". Ну, как вам?" — и он проверял впечатление.

"Ты слишком умен для театра", — смеялся Куза.

Но тот же Санька был неподражаемо жутким в роли Черного человека. Вероятно, он понимал, кого играет...

"Гениев среди нас нет, — сказал Куза. — Но ансамбль, кажется, полный. Мы вместе, чувствуете? С Пушкиным не пропадем!"

И вообще, и вообще, когда окна выходят в палисадничек перед гальперинским домом, а в этом палисадничке навсегда расположилась весна и теперь подсказывала им, что нельзя, нельзя играть трагедию глубоко-мысленно и таинственно, что глупо в такой солнечный день притворяться какими-то реально недоступными Моцартом и Сальери, достаточно бережно передавать друг другу слова, не пытаясь придать им посторонний, пусть даже очень глубокий смысл, — они как бы буквально погружали руки в неизвестное, незримое, чтобы достать и явить белому свету что-то только ими видимое. Они объединялись, как слова в пушкинской строфе, потому что им все это нравилось.

Здесь не было ни преклонения, ни пиетета — откуда им знать о пиетете и преклонении, когда в палисаднике — весна, а вокруг города — море? Откуда им знать, что такое слово "кощунственно", когда они любили Пушкина и друг друга?

Нет, нет, только озноба они желали, целью их жизни был озноб. Он предвещал не болезнь, а выздоровление, потому что это был озноб догадки, догадки и сопричастности. "Не надо музыки, — говорил Куза, — просто будем сидеть и слушать". И они сидели, потрясенные тишиной, там, где у Пушкина написано: "Идет к фортепьяно. Играет".

Дело было не в музыке, а в готовности слышать ее всегда и сидеть вот так рядом, может быть, целую жизнь. И не было вражды между Сальери и Моцартом — просто с каждой секундой накапливалась какая-то неясная боль и искала выхода. Это расставались с музыкой и тишиной дети, они уже никак не могли спасти Моцарта, потому что у Пушкина он уходил умирать. Но быть с ним рядом они могли и хотели.

Сам Моцарт казался Кузе таким же, как он, мальчишкой, только еще более щедрым, со странной угловатой пластикой, будто он перебежал очень ширококую освещенную солнцем площадь, и этот бег доставлял ему радость.

Взмахи длинных и тонких рук Кузиного Моцарта могли показаться прохожим смешными, если бы они не шли в такт с чем-то глубоко в нем

происходящим. Такой Моцарт мог умереть только на лету, без всяких могучих предчувствий, весело умереть.

А рядом боялся сойти с места Сальери, расточить хоть одно движение — физическое ли, душевное. Сам себя приковал и говорит, говорит...

Фортепьяно никакого не было, Куза вовремя догадался, что оно ни при чем, тем более играть никто из них по-настоящему не умеет, а притворяться зачем?

Был прямой некрасивый стол, и четверо мальчиков в собственных своих костюмах сидели и слушали тишину, был длинный-предлинный черный лоскут с лирой посередине — дань "взрослому" театру, и единственная вольность — последние строчки: "А Бонаротти? Или это сказка тупой бессмысленной толпы — и не был убийцею создатель Ватикана?" — не произносились, а зритель слышал из-за кулис дрожащий мальчишеский голос Моцарта — Кузы, ушедшего умирать: "Гений и злодейство — две вещи несовместные!"

Когда уже трудно было произносить пушкинские стихи под развешанным Володькиной бабушкой сырым бельем, они проникли в актальный зал и репетировали при закрытом занавесе на сцене. И просунулась однажды голова Сережи Малько, и посмотрела...

На другой день Анна Карловна сидела посреди зала, вцепившись в кресло перед собой трагическим жестом, голову положив на руки.

Все ее подданные стояли единым рядом параллельно сцене, когда Куза вошел. Видно было, что они охвачены воодушевлением и еще усталостью, вероятно, из-за ночной репетиции, но это Куза заметил позже...

"Виктор Куза, — сказала толстая Вера Григорьева, очень смешная, неуклюжая в жизни, на сцене в смешных ролях она почему-то теряла всякое обаяние. — Виктор Куза! Наш коллектив обвиняет тебя в том, что ты предал общее дело, наш коллектив презирает изменников и требует, чтобы ты во всем немедленно признался".

"Вера, — спросил Куза. — Ты что, очумела?"

Тут дирижерским жестом подбросила голову, вскинула руки Анна Карловна посреди зала, восклицая:

"Он обижает девушку, какой-то неисправимый негодяй!"

После этого движения ряд развалился, и группами Кузу начали окружать.

"Знаешь, кто ты?" — осторожно спросил Малько.

"Кто?"

"Ты... авантюрист!"

"А ты, Сережа, шпион!"

"А ты — формалист!"

"Что ты сказал?" — Куза в отчаянии оглянулся на Карлос. Кажется, она была довольна.

"Формалист проклятый, вот ты кто!"

После того как ударил Куза Сережку Малько, началось невообразимое — девочки щипали его какими-то особо болезненными щипками, мальчишки били ногой в зад, и все это под вопли Анны Карловны: "Даже Мейерхольд был талантливей Таирова, даже Мейерхольд!" — а потом она приказала: "Прекратить!" — и ушла из зала. Остальные за ней.

Куза увидел, что в последнем ряду сидит, вдавившись в кресло, единственная не напавшая на него фигурка, и пошел к ней.

"Ирина, — сказал он. — Знаешь, нам так нужна твоя помощь! И вообще, я соскучился по тебе".

"А что вы ставите?" — спросила она сквозь слезы.

"Пушкина. "Моцарт и Сальери", представляешь?"

"Тебе больно?"

"Чепуха! Противно немножко, нельзя же так подчиняться этой истеричке!"

Ирина поднялась и стояла перед ним в какой-то возвышенной, черт его знает кем поставленной позе.

"Ты не исправим, — сказала она, направляясь к выходу. — Я не собираюсь помогать тебе... И потом — какое отношение имеют ко мне твои "Моцарт и Сальери"? — какая-то чужая дурь прямо-таки кипела в ней. — Там же нет женских ролей!"

Большое жюри

Вначале Кузе объяснили, что "Моцарт и Сальери" — "великая маленькая трагедия, поставить еще никому не удавалось и рассчитывать на успех — наглость", потом директриса сказала, "что школа не город, и два театра в одной школе — большая роскошь". Вслед за этим пришло сообщение, что у Карлос гипертонический криз, она умирает.

В невообразимой суете, когда завхоз и учитель физкультуры куда-то уезжали по поручению завуча, чтобы тут же вернуться, и потом, по непонятной причине, несли в учительскую баян Сережи Малько (может быть, как вещественное доказательство Кузиного преступления?), когда держась за перила, обескровленно и очень драматично прошла мимо них Ирина, Куза спросил у Игоря:

"Черной материи достал?"

"И матерью достал. И лиру сделал. Перестань волноваться!"

"В науке, я думаю, живется спокойнее, — сказал Санька. — Из-за чего сыр-бор?"

А Володька Гальперин, который сидел на скамье рядом с учительской молча, неожиданно произнес:

"Куза, мне почему-то кажется, что я не боюсь играть Сальери, тебя это радует? И вообще, пусть мне дадут умереть на сцене спокойно!"

Вот она, вся его крошечная труппа, собранная на полчаса сценического времени, верная всю жизнь, весь его Камерный театр, просуществовавший на земле один месяц! Интересно, сколько жил тот Камерный, из некупленной книги? Были у Таирова такие же трудности, как сейчас у Кузы? Разве могла ему помешать какая-то Карлос?!

Куза открыл дверь и вошел в учительскую:

"Елена Павловна, чего мы ждем?"

Он застал учителей в момент величайшего смятения, им давно пора было уйти, но безутешное горе завуча не позволяло, и они бродили по комнате, с надеждой взглядывая на Елену Павловну.

Она смотрела на Кузу:

"Тебе мало, что ты погубил человека?"

"Я этого не делал, Елена Павловна".

"Может быть, ты скажешь, что не сорвал районный смотр, не опозорил школы?"

"Да!"

"Чего же ты хочешь?" — измученные ожиданием учителя приближались к Кузе.

"Действительно, ты бы объяснил, Витя... и все бы уже давно... понимаешь?" — спросила Августа Александровна и зарделась. Она преподавала математику, недавно вышла замуж, ребятам казалось, что она любит своего полковника и всегда торопится домой, невзирая на культурные традиции школы.

"Вопрос ставите неверно, Августа Александровна! Ведь мы умирать будем, а они ничего не поймут! Анна Карловна — человек такой высокой культуры, мастер, здесь не спрашивать надо, а броситься к ней, умолять! Если ты хотел самостоятельности, мог показать ей... твоё творение, она — мастер, все было бы отлично!"

В учительской идея понравилась, света стало как бы больше, и все заулыбались.

"Куза, а почему нет? — спросил Вениамин Сергеевич. — Вы же сдаете мне контрольные на проверку..."

И показалось Кузе, что с черным кошачьим веером в руках сидит у него на репетиции Анна Карловна, размякшая от доброты, готовая простить тех, кто на сцене...

Жестким стал мальчик в эту минуту, зорким, жестким, настроженным, как бы затвердел весь:

"Но нам Анна Карловна ничего такого не задавала, и вообще, Елена Павловна... мы настаиваем, чтобы нашу работу посмотрело компетентное жюри". Куза так и сказал — "компетентное".

И этим словом завоевал симпатии учителей.

Екатерина Трофимовна наклонилась к уху завуча:

"Может быть, правильно... Дети все-таки... нужны неопровержимые доказательства".

"Куда я должна звонить? — растерялась Елена Павловна. И в это время телефон зазвонил сам. — Да, — сказала она в трубку. — Да, это я... Милая моя, зачем вы? Могла и Соня... Да... Да... Вы так сами решили? Моя великодушная... Такая мысль возникла и у нас, он согласился?! Когда придет? Уже вечером! Хорошо, хорошо, не плачьте, милая, мы все организуем. Ах, конечно, я понимаю... да и ни к чему вам, лежите, лежите..."

"Вот, — сказала завуч, положив трубку, — Анна Карловна — великодушнейший человек. Вечером придут вас смотреть очень-очень не простые люди, идите, Куза, вот ключ от зала. Нужна помощь — зовите завхоза".

А вечером в уже притемненный и совершенно пустой зал вошли три человека и сели не очень далеко, не очень близко. Затем ребята расслышали из-за кулис, как завуч говорит кому-то: "Нет, нельзя, нельзя... Только учителям. Позовите Шкурникову, пусть находится у дверей!" — и несколько пар ног, поскрипывая, постукивая, некоторое время пробирались по залу, а потом притихли, рассредоточились.

Что-то тревожное есть в игре перед пустым залом. Еще более пустым, когда горстка зрителей сидит не вместе, а отделившись друг от друга, и это, подумал Куза, совсем не то, что играть для самих себя или в гуле заполненного школьниками пространства. Казалось, чья-то огромная пасть пожирает спектакль, да еще торопит ребят, торопит...

Но тут Куза увидел, что такое состояние владеет только им одним, а шахматист, играющий Сальери, а математик — Черный человек, а скрипач — художник, веселый энтузиаст Игорь, вышли на сцену работать. И работают.

И, благодарный им, он доиграл спектакль.

После, не произнося ни слова, они остались сидеть на сцене, ожидая, когда позовут их те, кто шептались там, в зале. Появился завхоз.

"Быстренько! — испуганно сказал он. — Велели спускаться".

Короткими и частыми кивками Елена Павловна выражала свое согласие с тем, что говорил ей высокий полный человек в сером костюме. Еще из "компетентных" в зале находилась носатенькая женщина, похожая на птичку, и молодой мужчина с внешностью постороннего.

Высокий повернулся к ним, рассматривая...

Куза понял, что высокий его забыл, как забывает, вероятно, все, что заоряет его уже немолодую память.

Борис Леонидович Савицкий был весел.

"Титаны! — сказал он. — Ну, сильны! Р-раз, и Пушкина сыграли! — он засмеялся. — А недурно, знаете, совсем недурно... Слегка самоуверенно, но это пустяки. И вы мне нравитесь, — обратился он к Володе. — Что, трудно играть злодея? Как это вы все руками, руками, "змеей, людьми растоптанною вживе"! Вам бы в театральную студию, молодой человек! Ах, он шахматист! Ну и что? Театр же не на всю жизнь, будет что вспомнить! А Черный человек чем у вас занимается? Вот как... Гордость города, слышал, слышал. И почему это так — в молодости играешь вдохновенно, но неумело; начинаешь уметь — главное исчезает куда-то, а? Фокус в чем, не знаете?"

"Борис Леонидович, — смущенно попросила завуч. — Вы своих замечаний не скажете?"

"А какие замечания? Тут, знаете, все так наивно, чисто, законы совсем другие. Пусть играют. Ничего страшного! Успокойте мою ученицу".

"Вот вы все про нас и про нас, — грубовато сказал Игорь. — А мы что? Мы — пришли... и ушли. А сделал все он, он один. — Игорь ткнул в сторону Кузы. — А мы что? Мы — пришли и ушли".

И тут, пытаясь задержать взгляд Савицкого, с вызовом произнес Куза:

"Как поживает ваш брат?"

"Вы знаете моего брата?" — Савицкий вглядывался в мальчика.

"Да. Он рассказывал мне о Камерном театре".

"Это и есть тот самый, — сказала завуч. — Виктор Куза. Зачинщик".

Кажется, Савицкий все понял, потому что загрустил как-то и начал шагать по проходу.

"Почему — зачинщик? — наконец произнес он. — Не зачинщик — автор всего этого зрелища, и они ему верны... Ну а то, что он обидел больную женщину... — и велел Кузе: — Проводишь меня к машине".

Потом Савицкий прощался церемонно и даже, взяв за руку Гальперина, многозначительно посмотрел ему в глаза, как бы желая запечатлеться там навеки. Дальнейшее он совершал уже для Кузы и особым роскошным жестом принял у гардеробщицы плащ и зонт взял по-особому.

"До свидания, — сказал он тем, с кем пришел. — Я еще заеду домой, а потом ждите меня в театре".

Молодцеватый шофер выскочил из машины:

"Борис Леонидович, заводить?"

"Нет. Сеня, исчезни куда-нибудь на несколько минут, не под дождем же мне разговаривать с этим юношей, мы посидим в машине".

В машине Куза сел сзади, Савицкий впереди и затем почти все время поворлил, не поворачиваясь:

"Вы напрасно на что-то рассчитываете. Камерного театра больше нет".

"Где ваш брат?"

"Мой брат — неизлечимо больной человек, а вы, начиненный его бреднями, думаете, что спасете человечество, искусство. Ведь вы так думаете? Мне рассказала о вас Анна Карловна. Да, конечно, она не великий режиссер, но человек... верный! А это немало... понимаете?"

Куза молчал.

"Вы, безусловно, молодец, но поймите, мальчик, неестественно много уметь в вашем возрасте... Все эти формальные навыки... Да и не нужно, в конце концов! Они редко кому могут пригодиться. Сохраните молодость, непосредственность, это важнее современному театру сегодня, душа важнее, чем техника".

"Я не хочу быть актером, я знаю, что моих способностей мало".

"Да нет, вы — как раз способный, а кем вы собираетесь — режиссером?"

"Сначала я должен узнать, чем занимался Камерный театр".

"Да это идея-фикс! — произнес Савицкий, с трудом поворачивая к мальчику поддержанную тугим воротником голову, лицо его покраснело от возмущения и духоты. — Чем занимался — хочешь знать? Фиглярничал, удивлял мир! Чем занимался? Ломал актерскую природу, реальную, естественную, живую!"

"А Коонен?"

Болезненная судорога пересекла лицо Савицкого и исчезла, кончик языка obeжал пересохшие губы, потом он сказал потерянно:

"Коонен, Коонен... Я и сам себе не могу объяснить. Здесь кроется какой-то обман, — зашептал он чуть позже. — Если бы Коонен не было, Таирову нечем было бы крыть, а Камерный мог вообще не родиться. И по-

том... — расшвырял Савицкий, — если тебе не о чем меня больше спрашивать, выходи из машины".

Куза потянул на себя ручку и, выбравшись послушно из машины, сразу попал под дождь, но, оглянувшись, пожалел не себя, а этого сидящего в тепле старого человека. Он постучал в стекло. Борис Леонидович вздрогнул и приоткрыл дверцу:

"Что тебе нужно еще?"

"Адрес Алисы Георгиевны дайте, пожалуйста. Где она живет?"

"Все там же, все там же, Москва, Камерный театр — тьфу черт, театр Пушкина, на втором этаже, все там же... передадут".

А через несколько дней, в тот самый сумасшедший вечер, когда играли для школы, для родителей "Моцарта и Сальери", когда обнаружилось, что забыли поставить кубок во второй картине и не зажигали свет, пока в темноте Игорь ползком не проник к столу Сальери, в тот самый вечер, полный чудес и неурядиц, показалось Моцарту, что в первом ряду сидит золотородый старик и смотрит на сцену подозрительно и тревожно.

Часть 3. Алиса верная

Позволь мне вмешаться, мальчик, и помянуть где-нибудь вблизи, изредка давая советы. Я лучше знаю Москву, такую нестерпимо знойную сегодня, и меня тревожит твое в эти два года изменившееся лицо, и угловатая пластика семнадцатилетнего юноши. Вздохмаченный, неуклюжий, подросший, ты идешь вдоль стены Новодевичьего монастыря, а впереди тебя, за тобой, прогуливают люди больших породистых собак, приветствуя друг друга.

Там, за стеной, — кладбище, и я догадываюсь, чью могилу ты ищешь, но это сложно, Куза, потому что столько знакомых имен ты встретишь, для тебя все еще живых, а на деле здесь захороненных...

Нет, нет, она жива, ты увидишь ее сегодня, а надгробье Таирова — вот оно, розовая плита с коленопреклоненной Федрой, надпись: "Александр Таирову — Алиса Коонен". И вообще много солнца, и, наверное, теплой стала вода в баночке с фиалками на краю могилы — здесь бывают и без тебя, Виктор Куза. Признайся — много случилось страстей за два года, и "Книгу о Камерном театре" ты прочитал давно, и девушку любишь другую — не Ирину. А Москва — она тебе столько предлагает, что, если бы я не напомнил, не вложил в твою ладонь двухкопеечной монеты, не подвел к автомату, кто знает, позвонил бы ты Алисе Коонен или нет? Но здесь

заинтересованных двое: ты, который получил ее ответное письмо два года назад, и я, который его читал! И мысли твои сейчас просто настроены на той недолговечной смеси веселья и брюзжания, столь свойственной твоему возрасту: "Неужели она все еще живет при театре, нет, все-таки есть что-то постыдное в такой жизни, будто театр выделил тебе закуток, и ты возишься с кастрюлями и банками, шаркаешь шлепанцами по полу, навсегда забыв, что под тобой сцена, прежнее твоё жильё".

Виктор Куза, не впадай в юношеское заблуждение, что вместе с изменениями в тебе меняется и мир. Отращивай усы, сбивай, меняй пристрастия, ходи по улицам злой и озабоченный, но Алиса Коонен сама по себе, мой мальчик, сама по себе.

"О, не беспокойтесь, я могу говорить долго! Во многих спектаклях театра были сцены, когда мои героини доведены до отчаяния, до крика. Я не "сажусь" на горло, а полностью снимаю всякое напряжение, освобождаю связки и кричу. Я могу говорить долго".

Я стою за твоей спиной, Виктор Куза, оба мы смотрим на нее, и единственное, что она может для нас сделать сейчас, — это обвить себя шалью, да так, чтобы переброшенные через сгибы локтей натянутые концы шали придали ей ту осанку, создали то чудо, которому рукоплескал мир, — царственный облик Алисы Коонен.

"Вас заинтересовали эти фигурки? — спрашивает она и берет в руки маленькую коленопреклоненную Федру. — Вам они кажутся, наверное, игрушками? Это не так... Прежде чем шить костюмы на живого актера, Александр Яковлевич просил сделать и одеть вот такую фигурку, у нас их были десятки...

В последние годы Александр Яковлевич создал из них труппу; ровно в семь здесь, в комнате, открывал занавес маленького макета сцены и разыгрывал с этими фигурками спектакль, который мог бы идти сегодня... У него, кажется, был даже репертуар составлен на месяц вперед. Потом занавес закрывался, фигурки отдыхали, Александр Яковлевич ложился спать".

Ты слышал, мальчик?

И я снова люблю тебя, потому что вижу, как ты начинаешь завидовать этим фигуркам, которым навсегда передалось тепло таировских рук, и теперь, чтобы никому не пришла в голову фантазия воспользоваться ими, они притворились неодушевленными.

Я предупреждаю твой следующий вопрос, пусть непосредственный, но оттого не менее дурацкий... "Почему, Алиса Георгиевна, вы уже двад-

цать лет живете без театра?" Я сжимаю до боли твое плечо и не даю спросить, потому что предчувствую страстное недоумение на ее лице: "Но с кем, для чего? Нет Таирова..."

А потом она говорит:

"Я готовлю программу. Тургенев, Блок. Надо иногда напоминать о себе, — и вдруг восклицает неожиданно радостно: — Знаете, что говорил мне Таиров перед смертью? "Алиса, живи так, будто у тебя сегодня вечером спектакль".

И прежнее волнение возвращается к моему повзрослевшему другу, оно лишает его самонадеянности, столь присущей нашему возрасту...

"Вы писали мне два года назад, что будете поступать в ГИТИС. Сейчас вы для этого приезжали?"

"Вроде бы, Алиса Георгиевна..."

"Меня возили туда однажды посмотреть какой-то экзамен... Я многого не понял. Конечно, талантливые люди есть, но почему боятся играть Гамлета, Ипполита? Верх смелости — горьковские персонажи. Почему не учат играть трагедию?"

Здесь помолчит Виктор Куза, а я отвечу: "Не знаю, Алиса Георгиевна, ни тогда не знал, когда там учился, не знаю и теперь. В Камерном театре играли трагедию: "Федру", "Благовещение", "Антигону", "Оптимистическую"..."

Не представляю. Совсем недавно существовал театр, говорил о главном, о потрясениях, не мелочась, языком великих поэтов. Премьерные афиши расклеивались по Москве. Не представляю. Камерный театр исчез весь, сразу после смерти Таирова, как Атлантида. Остались легенды...

Я хочу добавить: "И если бы не многострадальная жизнь Виктора Кузы, кто знает, смог бы ли я сейчас поверить в то, что на земле жила великая актриса одного театра — Камерного, одного-единственного режиссера — Таирова. Алиса Верная".

И мы оба, Коонен и я, позволяем Кузе совершить последнюю оплошность на сегодняшний вечер; вот он разворачивает перед уходом в прихожей какой-то маленький сверток и говорит: "Алиса Георгиевна, я совсем забыл, я принес вам подарок; вы, наверное, знаете, какая радость — вышла книга о Мейерхольде, правда, маленькая, но вышла, — вот она!"

Мы спускаемся по лестнице, я объясняю смущенному Кузе, что его всеядность могла огорчить Коонен, известно, какие сложные отношения были у Таирова с Мейерхольдом тогда, в двадцатых. Куза оглядывается на уже закрытую дверь и говорит: "Что она теперь подумает обо мне? Какой

же я беспросветный дурак!" Но на этот раз чего-то не понял я — Алиса Коонен думала о нем хорошо.

Р. С. Привожу два отрывка из давнего письма Алисы Георгиевны Коонен Виктору Кузе:

"Вы правильно мыслите, что, поступая в театральный институт, хотите найти свое мировоззрение — в искусстве театра. Это верный подход. В работе театра, особенно режиссера, очень важна целеустремленность, своя точка зрения, с самых первых шагов..."

"Таиров очень заботился о том, чтобы все учебные дисциплины в театральной школе воспитывали здорового актера, укрепляли его здоровье (в здоровом теле — здоровый дух!). И какие бы трагические эмоции ни переживал актер, они должны были ложиться на крепкий и здоровый темперамент, ибо трагедия сугубо несовместима с неврастенией или истерией. Люди нервно неустойчивые не могут играть больших трагических ролей. Нервозность — начало физиологическое, а искусство актера — это не физиология..."

Москва

